

ТЭФФИ

Моя

летопись

ЖИЗНЬ



Эмигранты

Надежда Тэффи

Моя летопись

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Тэффи Н.

Моя летопись / Н. Тэффи — «Издательство АСТ»,
— (Эмигранты)

ISBN 978-5-17-157464-2

Надежду Лохвицкую (1872-1952), известную всем под псевдонимом Тэффи, современники называли «королевой юмора». Ею восхищались от Николая II до Ленина, а ее веселые ироничные рассказы и фельетоны с остроумными наблюдениями над жизнью и нотками грусти очень высоко ценили. Пережив три революции, две мировые войны, оказавшись в 1920-е годы в эмиграции, она сохранила в «короткой прозе» непосредственность, легкость и умение посмеяться над обычными бытовыми ситуациями, а в свои мемуары привнесла философский характер. В русском Париже Тэффи была одним из любимых писателей. Там она создала «Воспоминания», а также очерки, на страницах которых оживают А. Куприн, А. Толстой, А. Аверченко, А. Ахматова, Н. Гумилев, С. Есенин, В. Розанов, Г. Распутин, А. Коллонтай и многие другие. Она хотела создать из них книгу «Моя летопись», но сама не успела собрать ее. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-157464-2

© Тэффи Н.
© Издательство АСТ

Содержание

Несравненная Тэффи	6
Воспоминания[6]	14
1	16
2	20
3	24
4	32
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Надежда Тэффи
(Надежда Александровна Лохвицкая)
Моя летопись

* * *

© ООО «Издательство АСТ», 2023

© С.С. Никоненко (наследники), составление, вступительная статья, примечания, 2023

Несравненная Тэффи

Примерно полвека назад попалась мне в руки книжка. Называлась она «Карусель». Автор – какой-то Тэффи. Впрочем, прочтя несколько строк, я понял, что автор – женщина. Рассказы – прелестные, но особенно поразил меня один: «Открыли глаза». Два русских человека – судья и помещик – сидят в столовой зарубежного курорта и для развлечения пытаются по внешности определить сущность каждого человека. Они обнаруживают среди коллег-отдыхающих и убийц, и банщиков, и палачей, и железнодорожных воров. Говорят они, разумеется, по-русски. Когда они узнали у хозяйки, кто кем был на самом деле, то хохотали до упаду: железнодорожные воры оказались певцами из Америки, женоубийца – слабоумным миллионером, банщик – французским журналистом, палач – нотариусом, и т. д. Но самое удивительное ждало их впереди. Через пару дней они получили письмо, написанное по-русски. «Бегите из этого вертепа, – взывала русская помещица Холкина (уже сбежавшая). – Вы мне открыли глаза на окружающих нас преступников. Но и о вас я узнала правду. „Вот и фальшивомонетчики в полном составе“, – сказал один из обедающих, когда вы вошли. Бегите, пока не поздно, и, может быть, вы еще исправитесь». Рассказ очень смешной. И вместе с тем умный. Он не просто смешит, но и напоминает: внешность – это еще не человек, внешность часто обманчива, и обмануться всегда можно в любую сторону – принять умницу за идиота и негодяя – за благодетеля. Между прочим, Тэффи и в воспоминаниях честно признается в своих ошибках.

Вот читаем у нее о Борисе Пантелеймонове:

«Пришел высокий элегантный господин, лет сорока пяти...
У нас, писателей, глаз острый. Я сразу поняла – англичанин.
Оказался коренной русский, сибиряк, 58 лет, ученый-химик...»

Конечно, этот пассаж можно было бы расценить как авторский прием, удачно найденный и затем эксплуатируемый на протяжении полувека.

Но вряд ли только в приеме тут дело.

Да, Тэффи хорошо знала афоризмы Оскара Уайльда: первое впечатление – самое верное, и ошибается тот, кто не судит по внешности. Но как раз по внешности Тэффи и не судит: она пытается проникнуть в глубины человеческой души, разобраться в каждом человеке, понять его. И достигает замечательных результатов, причем все это – с улыбкой, иронично, как бы даже извиняясь, с поразительным и естественным тактом, – речь здесь и о собственно художественном ее творчестве, и о ее мемуарах тоже, кстати, мастерских произведениях искусства.

О самой Тэффи сохранилось немало воспоминаний, и все они – как правило – восторженные. Мемуаристы открыто любят ее остроумием, красотой, находчивостью, доброжелательностью, умом.

Восхищенными эпитетами Тэффи награждали самые известные люди России. Но мало кто отмечал ее уникальную силу воли, мужество, ибо Тэффи всегда стремилась предстать перед внешним миром веселой и беззаботной, какой, по мнению миллионов читателей, и должен быть автор юмористических рассказов. Но это вовсе не маска, а черта характера – не выставляя напоказ собственных горестей и проблем, у каждого и своих хватает.

Обычно авторы воспоминаний начинают описывать свое раннее детство, родителей, предков, семейные обычаи, постепенное взросление. В воспоминаниях Тэффи ничего этого не найти. Какие-то фрагменты, фразы, эпизоды из жизни семьи в ее воспоминаниях, конечно, мелькают, но нет ни детального описания близких, ни собственно истории семьи. Та книга, что вышла в Париже в 1932 году и озаглавлена «Воспоминания», по сути дела, посвящена лишь одному, хотя и значительному эпизоду из жизни автора, – истории ее прощания с родиной, растянувшегося почти на полтора года: осенью 1918-го Тэффи с Аркадием Аверченко и несколь-

кими актерами отправилась на гастроли в Киев, а там – дальше на юг, и в конце 1919 года оказалась... в Константинополе. Спустя двадцать лет Тэффи предпринимает попытку издать новую книгу воспоминаний. Теперь она озаглавлена «Моя летопись» – потому что воспоминания не об авторе, а о других людях (ведь летописец пишет не о себе, а о событиях, свидетелем которых ему довелось стать).

Можно ли из мемуарной прозы Тэффи узнать что-либо о ней самой?

Конечно, можно. Потому что каким бы объективным ни стремился быть автор, он обязательно где-то приоткроет свою душу, обязательно выскажет свое отношение к описываемому им человеку или житейскому эпизоду, и тогда мы видим, кто он, сам автор, таков. В данном случае мы узнаем Тэффи такой, какой она рисуется и современниками, – остроумной, ироничной, доброжелательной, очаровательной.

Итак, поскольку сведения о самой Тэффи в ее воспоминаниях весьма скудны, сообщим некоторые сведения, почерпнутые из материалов ее биографов.

Надежда Александровна Лохвицкая (таково ее имя от рождения) появилась на свет в конце апреля (начале мая по н. ст.) 1872 года в Петербурге. Откуда же такая неопределенность – в конце апреля? Да потому, что в нескольких энциклопедического характера изданиях и в биографиях, написанных исследователями творчества писательницы, приводятся разные даты: 21, 24, 26, 27 апреля и даже 9 мая (соответственно 3, 6, 8, 9 и 21 мая по н. ст.)! Дело в том, что сама писательница старательно запутывала этот вопрос. Так, в начале 1960-х годов в советских изданиях вообще сообщалось, что родилась Тэффи в 1876 году (я и сам указывал эту дату в сборнике ее рассказов, который мне удалось выпустить в 1967-м). В удостоверениях же личности, выданных Тэффи парижской префектурой в 1928 и 1935 годах, указана дата 26 апреля 1885 года как ее день рождения.

Так что до истины, видимо, еще придется докапываться.

Зато точно известно, что отцом ее был Александр Владимирович Лохвицкий (1830–1884) – из старого дворянского рода, профессор криминалистики, адвокат, издатель и редактор «Судебного вестника», автор многих трудов по юриспруденции, прекрасный оратор и остроумный человек. Мать Тэффи, француженка по происхождению (девичья фамилия Ноэр), великолепно знала европейскую литературу, в особенности поэзию, которую очень любила.

Впрочем, не только родители были не чужды литературе, но и более отдаленные предки. «Наследственность своего писательского дара я могу считать атавистической, т. к. прадед мой, Кондратий Лохвицкий, бывший масоном во времена Александра Благословенного, писал мистические стихотворения, часть которых под общим названием „О Филадельфии Богородичной“ сохранилась в исторических трудах Киевской Академии», – писала Тэффи в анкете-автобиографии¹.

Дед писательницы, Владимир Кондратьевич, сочетал в себе таланты философа и литератора.

Так что по крайней мере семейной традицией можно объяснить то, что три сестры Тэффи (Мария, Варвара и Елена) писали стихи и пьесы и даже весьма серьезный брат Николай (1868–1933), сделавший военную карьеру (во время Первой мировой войны он в чине генерала командовал Русским экспедиционным корпусом во Франции), в юности писал стихи. Самыми известными литераторами из семейства Лохвицких стали две сестры – Мария, взявшая себе псевдоним Мирра (1869–1905), и Надежда.

По окончании Петербургской гимназии на Литейном Надежда выходит замуж за выпускника юридического факультета Санкт-Петербургского университета Владислава Бучинского и уезжает с ним в Тихвин (где муж получил место судьи).

¹ Первые литературные шаги: автобиографии современных русских писателей / собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911. С. 203.

После рождения двух дочерей и сына Яна, примерно в 1900 году, Тэффи разводится с мужем и возвращается в Петербург, где и начинается ее литературная судьба. О детях ее почти ничего не известно (они остались с отцом).

В последние годы жизни Тэффи сблизилась со старшей дочерью Валерией (1892–1964, в замужестве – Грабовская), они часто переписывались. Валерия Владиславовна и передала архив своей матери в 1953 году в дар Бахметевскому архиву при Колумбийском университете (Нью-Йорк).

За полвека творческой жизни Надежда Александровна Тэффи создала очень много: помимо сотен публикаций стихов, рассказов, фельетонов, рецензий, очерков, воспоминаний в периодических изданиях ею только в дореволюционное время выпущено несколько больших сборников рассказов («Юмористические рассказы», 2 тома; «И стало так», «Карусель», «Житье-бытье», «Неживой зверь» и др.) и сборник стихов «Семь огней» (1910); написан ряд пьес (поставленных в крупнейших театрах России); в эмиграции, не прекращая сотрудничества с газетами и журналами, писательница выпустила еще девятнадцать книг, в том числе стихотворные сборники «Шамрам» и *Passiflora* (оба вышли в Берлине в 1923 году), сборники рассказов «Рысь», «Городок», «Книга июнь», «О нежности», «Ведьма», «Всё о любви», «Земная радуга», единственный роман – «Авантюрный роман»... К этому можно добавить, что Тэффи была постоянным участником литературных собраний «Зеленая лампа», сотрудничала в Союзе русских театральных деятелей и киноработников, была членом правления парижского Союза русских писателей и журналистов.

Оставалось ли при этом у нее время на так называемую личную жизнь? Ни одним словом в своих воспоминаниях она этого не коснулась. Однако, если просмотреть хотя бы несколько ее книг эмигрантского периода, можно обнаружить, что многие из них и многие рассказы в них посвящены П. А. Тикстону («Шамрам», «Книга июнь» и др.). Павел Андреевич Тикстон (1873–1935), до революции крупный петербургский банкир, был близким другом, гражданским мужем Тэффи, их связывала нежная, глубокая любовь, и, когда Павел Андреевич тяжело заболел, Надежда Александровна ухаживала за ним и не отходила от его постели до последней минуты.

Ничего этого, повторяю, в воспоминаниях мы не найдем. Слишком личное Тэффи оставляла в глубине своей души, только для себя.

Тэффи прожила долгую жизнь, и последние годы ее были нелегкими: болезни, бытовые трудности, уменьшение гонораров (после войны меньше стало выходить русских изданий в Париже, реже стали печатать книги, да и тиражи их были слишком невелики), но она мужественно держалась до конца, и в ее письмах к Андрею Седых и Марку Алданову в Нью-Йорк сохраняются и острота мысли, и четкость суждений, и ироничность, и доброжелательство к людям.

Умерла Надежда Александровна Тэффи 6 октября 1952 года в окружении самых близких людей и похоронена на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

О Тэффи написано и напечатано очень много. Однако и до сих пор на родине она не столь уж известна, хотя совсем недавно вышли пять томов ее избранных сочинений и несколько сборников рассказов. Во втором десятилетии XX века Тэффи была столь популярна, что ее сравнивали с признанным королем смеха Аркадием Аверченко и зачастую отдавали пальму первенства именно ей. Но таково наше плюралистическое время, что сегодня «Букер» более известен, чем Бунин, а Тэффи принимают за основательницу премии «Тэфи». Недавно меня спросили: «Тэффи – это из новых русских, предпринимательница? Шустрая. Сначала сделала деньги, теперь и книжки пишет». До революции же, несмотря на отсутствие таких средств массовой информации, как телевидение и радио, имя Тэффи знала вся страна.

Участие Тэффи в журнале «Сатирикон», и затем «Новый Сатирикон», оказалось взаимовыгодным: ее рассказы и фельетоны приносили журналу все большую популярность, привлекали новых читателей, в то же время благодаря журналу имя Тэффи становится все более популярным.

О Тэффи говорили критики самых различных направлений, ее стихи и фельетоны печатали и большевистские издания, а читательскую признательность она получила не только у рабочих, чьим главным чтением были большевистские газеты «Вперед» и «Новая жизнь», не только у так называемых обывателей, мещан, купцов, приказчиков и, наконец, интеллигенции – подписчиков «Сатирикона», но и при царском дворе. Так, в канун празднования трехсотлетия Дома Романовых, проходившего в 1913 году, на вопрос, кого из современных писателей пригласить для участия в юбилейном сборнике, Николай II ответил: «Тэффи, только Тэффи».

У Тэффи как-то сразу определился свой почерк, приемы, стиль. Она, в отличие от многих юмористов, не выдумывает смешные положения, чтобы получить комический эффект. Она подмечает действительно смешное в жизни, в повседневной будничной обстановке, во взаимоотношениях людей.

О лучших рассказах Тэффи, напечатанных в «Сатириконе», И. А. Бунин сказал, что они написаны «здорово, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью».

Круг тем писательницы широк и разнообразен. Ее интересуют и бытовые ситуации, и социальные проблемы, и человеческая психология, и политическая обстановка. Она могла несколькими штрихами, несколькими словами передать внутренний мир человека, заглянуть в душу и показать ее нам. На нескольких страничках, в нескольких коротеньких эпизодах Тэффи создает яркие, запоминающиеся, объемные характеры.

Тонким психологизмом и любовью проникнуты и рассказы Тэффи о детях. «Дети у Тэффи – это целая „маленькая вселенная“», – справедливо отмечал поэт и критик Юрий Терапиано.

Оказавшись в эмиграции в Париже, писательница временами возвращалась памятью к России, но больше писала об эмигрантском житье-бытье. Ее рассказ «Ке фер?» стал символом жития русского в Париже и вошел в поговорку.

От многих эмигрантских рассказов Тэффи веет грустью, но грусть и раньше проглядывала сквозь словесную ткань ее внешне очень смешных произведений. В общем-то, она никогда и не была профессиональной юмористкой и не ставила себе задачи обязательно рассмешить. Смех рождался при чтении ее рассказов сам собой: рассказы всегда отличались легкостью, естественностью. Они многослойны, многогранны и, в зависимости от того, какой стороной повернутся к внутреннему миру читателя, – вызывают и соответствующую реакцию, потому что где-то в глубине, за словами, репликами персонажей, за представленной в рассказе ситуацией кроется большой мир человеческих чувств и переживаний.

Книги Тэффи всегда ожидались русскими зарубежья с нетерпением и воспринимались как некий дар, ибо даже своими грустными рассказами писательница поддерживала дух соотечественников, придавала им силы и уверенность.

И по сей день сохраняют свою справедливость слова, сказанные о Тэффи одним из лучших русских критиков литературного зарубежья Георгием Адамовичем:

«...Тэффи никого не судит, никого ничему не поучает... современники и соотечественники узнают в ее книгах самих себя и сами над собой смеются...»

Тэффи не склонна людям льстить, не хочет их обманывать и не боится правды. Но с настойчивой вкрадчивостью, будто между строк внушает она, что, как ни плохо, как ни неприглядно сложилось человеческое существование, жизнь все-таки прекрасна, если есть в ней свет, небо, дети, природа, наконец, любовь».

Хочется привести высказывание еще одного писателя, в чьем взыскательном вкусе, писательском опыте и мастерстве вряд ли можно усомниться. «Нередко, когда Тэффи хотят похвалить, говорят, что она пишет как мужчина. По-моему, девяти десятым из пишущих мужчин следовало бы у нее поучиться безукоризненности русского языка... Я мало знаю русских писателей, у которых стройность, чистота, поворотливость и бережливость фразы совмещалась бы с таким почти осязаемым отсутствием старанья и поисков слова» – так сказал Александр Иванович Куприн.

И при жизни, и после смерти писательницы отношение к ней не было однозначно одобрительным. Острота, резкость суждений Тэффи порой вызывали у тех, в чей адрес эти суждения высказывались, гнев, злость, а иногда и ненависть. Так, ее отрицательная рецензия на книгу Андрея Белого «Пепел» послужила стимулом для выпадов против Тэффи и Зинаиды Гиппиус, и Валерия Брюсова.

Хотя с годами Тэффи несколько смягчила свой стиль, некоторые писатели боялись ее острого языка, недолюбливали ее. Владимир Злобин, друг и секретарь Мережковских, в своей книге о Зинаиде Гиппиус «Тяжелая душа» (Вашингтон, 1970) пишет, например, в связи с рассказанным в воспоминаниях Тэффи эпизодом, где она отмечает равнодушную реакцию Мережковских на известие о смерти их близкого друга Дмитрия Владимировича Философова: «А с Тэффи они о своем горе просто не хотели говорить. Дмитрий Сергеевич ее недолюбливал, считал фальшивой» (с. 84).

Отрицательно отнеслась к воспоминаниям Тэффи о Мережковских и М. С. Цетлин (одна из издательниц «Нового журнала» в Нью-Йорке). Тэффи даже пришлось писать ей оправдательные письма. Стоит процитировать несколько фрагментов одного из них:

«До меня дошли слухи, которым я никак не могла и не хотела поверить. Но слухи подтверждаются тем, что вот уже больше года, как от Вас нет ни одного слова! А слухи эти такие, будто Вы на меня рассердились за... нелестное мнение о характере Мережковских! Но ведь я писала честно, только то, что видела и слышала. Я обо всех писала честно – и о Бальмонте, и о Куприне, и о Ал. Толстом, и о Сологубе... От одного крупного общественного деятеля я получила письмо по поводу Мережковских. Тоже недоволен, но несколько иначе. „Если писать правду, то надо всю правду, а не останавливаться на полуслове. Вы пишете, что они, Мережковские, не продавались. Они именно продавались... и всегда: Пилсудскому, Муссолини, Гитлеру...“ Я ответила, что этого я не то что не знала, а знать не хотела...

Мои воспоминания страдают скорее слащавостью, а уж никак не несправедливой злобой. Ни от одного слова не отрекись. Все правда и даже не полная правда. Вы их не знали, не видели вплотную...»²

Воспоминания «О Мережковских» были напечатаны в «Новом русском слове» в январе 1950 года, а письмо Тэффи датировано 25 апреля того же года. 17 же марта 1951 года Тэффи сообщила Андрею Седых: «Я перечитывала моих Мережковских и Гиппиус и – верьте слову – и половины не рассказала того, что нужно было бы. Но не хотелось *lave le linge sale*³. Они были гораздо злее, и не смешно злые, а дьявольски. Зина была интересна. Он – нет. В ней иногда просвечивал человек. В нем – никогда»⁴.

² Дальние берега: портреты писателей эмиграции: мемуары / сост., автор предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1994. С. 378–379.

³ Полоскать грязное белье (*фр.*).

⁴ Седых А. Тэффи в письмах // Воздушные пути. 1963. № 3. С. 202.

Между прочим, Георгий Адамович высказывал нечто близкое соображениям Тэффи и этим как бы подтверждал ее правоту:

«Мережковский был и остается для меня загадкой. Должен сказать правду: писатель он, по-моему, был слабый, а мыслитель почти никакой... Она, Зинаида Николаевна, была человеком обыкновенным, даровитым, очень умным (с глазу на глаз умнее, чем в статьях), но по всему своему составу таким же, как все мы. А он – нет.

С ним наедине всегда бывало „не по себе“, и не я один это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек с прирожденным диковинным оттенком мыслей и чувств, весь будто выхолощенный, немного „марсианин“. Было при этом в нем что-то мелко-житейское, расчетливое, но было и что-то нездешнее и была особая одаренность, трудно поддающаяся определению»⁵.

Воспоминания – это не дневник, в дневнике обычно фиксируются события и впечатления, почти совпадающие во времени с их протеканием (иногда, правда, дневники включают и воспоминания). И потому дневники, казалось бы, ближе к истине, достовернее, чем воспоминания, авторы которых могут чуть-чуть приукрасить свою роль, чуть-чуть исказить происходившее, в зависимости от конъюнктуры изменить свои оценки людей, фактов, тех или иных явлений. Все это так. Но ведь ничьи воспоминания никогда не рассматривались как единственный достоверный источник о времени и о людях. Ценность воспоминаний именно в личном взгляде на те или иные события, в собственной оценке тех или иных персонажей мировой драмы. Именно сопоставляя мемуары разных, очень разных людей, потомки смогут лучше понять минувшее время.

В «Воспоминаниях» (первоначально они печатались в парижской газете «Возрождение») Тэффи обращается к временам не столь отдаленным, еще не утратившим в памяти своих красок, деталей, четкости. И потому, возможно, столь живыми и объемными предстают перед нами персонажи, мелькнувшие на страницах воспоминаний и исчезнувшие в дымке времени. Мальчишка на перроне украинского городка, Максимилиан Волошин, вступающий за невинных, комендант Одессы Гришин-Алмазов, Аркадий Аверченко, с которым начинался путь Тэффи на юг, и многие другие герои этой книги оживляют ее, делая почти осязаемым время. А некоторые герои, как, например, «псевдоним» Гуськин, являются бесспорной удачей Тэффи как прозаика, ибо Гуськин – это уже не конкретное историческое лицо, а литературный тип, воплощающий характерные черты целого класса, паразитирующего на искусстве. Конечно, он еще довольно безобиден, мелок, он еще, так сказать, зародыш, но именно из Гуськиных вырос тот класс хищников, который сегодня, в благообразной шкуре ягненка-менеджера, своими клыками и когтями вгрызается в плоть искусства и в карманы потребителей искусства.

В «Воспоминаниях» Тэффи много блестящих страниц, где писательница со свойственной ей ироничностью и умением проникать в суть характеров лаконично и убедительно воспроизводит лики времени. Книга Тэффи помогает нам понять тех, кто покинул Россию в разгар Гражданской войны или сразу после нее. Гражданская война – не столь уж частое явление в истории. И трудно в такой период сохранять нейтралитет, нужно, хотя бы в пассивной форме, принять ту или иную сторону. Сделать выбор. И Тэффи делает его: ее враги – новые большевистские власти и их войска. Она об этом пишет. И лишь мимоходом сообщает, как с Максимилианом Волошиным они вызволяли из застенков Добровольческой армии Кузьмину-Караваеву, схваченную белыми по ложному доносу.

Тэффи не пишет о застенках Добровольческой армии (она этого и не могла знать, поскольку в период гражданской войны – как и любой войны – всегда возрастает роль про-

⁵ Адамович Г. В. Собр. соч.: Комментарии. СПб., 2000. С. 146.

паганды, и если газеты белых ярко живописали жестокости красных, то газеты красных с не меньшим усердием клеймили зверства белых), но зато несколько раз сообщает о виселице, которую явно использовали красные.

Книга Тэффи помогает понять тех русских людей, кто оказался в стане белых, покинул родные берега с надеждой вернуться, но так никогда и не ступил вновь на русскую землю.

Несколько иной жанр у произведений, включенных в книгу, которую писательница предполагала назвать «Моя летопись». Здесь она хотела рассказать о тех замечательных (в том или ином отношении) людях, с кем ей пришлось встречаться, общаться на протяжении многих лет или же встретиться всего лишь два-три раза (например Распутин), но слишком уж выделялись эти люди, слишком заметную роль сыграли или в истории литературы, или в судьбе России, русской эмиграции, или, наконец, в судьбе самой Тэффи. Герои ее «Летописи» не равнозначны ни по таланту, ни по известности, ни по своей роли в той или иной сфере жизни. Однако все они прошли через жизнь писательницы и оставили в ней заметный след.

Читателю сразу же бросается в глаза, что ни одна из глав «Летописи» не посвящена тем современникам, кто еще был жив. Правда, в главе «Георгий Чулков и Мейерхольд» Тэффи оговаривается: «Не знаю, жив ли Георгий Чулков». Но, очевидно, все же до нее дошли какие-то слухи, что к тому времени Чулкова в живых уже не было. Так что принцип этот выдержан. О живых она или упоминает мельком, или зашифровывает их под каким-нибудь инициалом. Вероятно, здесь действует внутренняя тактичность: Тэффи знает, что не каждому хочется, чтобы о нем писали, – а иногда и опасение навредить: вдруг тот, кого она упомянула, находится сейчас в Советском Союзе – ведь его могут объявить «врагом народа» из-за того, что о нем пишет «белогвардейская» писательница...

В разное время пересеклись судьбы Тэффи и ее героев, по-разному складывались их отношения, и узнать что-то новое из ее уст даже о хорошо известных людях или же хотя бы что-то о почти совсем неизвестных сегодня персонажах – всегда интересно. Потому что каждая глава (или очерк) ее «Летописи» – это художественное произведение, герои которого живут, действуют в эпоху, порой отстоящую от нас более чем на полвека, на три четверти века, а иногда почти на век (большевистская «Новая жизнь» выходила в 1905 году!), и мы узнаём во взаимоотношениях, поисках, метаниях людей прошлого какие-то черты, особенности, присущие и нашим современникам.

Мы узнаём что-то новое и о личности Николая II, и о личности Репина, знакомимся с почти неведомым ныне русскому читателю Лоло, проникаемся еще большей симпатией к А. И. Куприну и вновь открываем для себя таких «странных людей», как З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский.

Узами теплой дружбы и взаимопонимания были связаны три русских писателя, доживавших последние свои годы в далеком Париже: И. А. Бунин, Тэффи и Б. Г. Пантелеймонов. Помимо воспоминаний третьих лиц, есть тому доказательства и самих участников дружеского кружка. Вот они на фотографии 1949 года за столом в саду среди других писателей: Бунин в кепке, Тэффи, рядом стоит Пантелеймонов. Есть письма Тэффи к Андрею Седых в Нью-Йорк, есть надписи на книжках. Вот надпись на сборнике стихов Тэффи «Шамрам», подаренном Пантелеймонову: «Дорогому брату по духу Б. Пантелеймонову. Повернитесь вечером лицом к Востоку и вспомните то, чего не было». Вот надпись на книжке Пантелеймонова «Святой Владимир»: «Надежде Александровне Тэффи, очаровательной, несравненной, умной, исключительной – благодарный Б. Пантелеймонов».

А вот листок в клеточку, вырванный из блокнота, со словами, написанными Тэффи за несколько дней, а может и часов, до смерти:

«Нет выше той любви, как если кто морфий свой отдаст брату своему.
Вот!!

Н. Т.»

Запись эта сделана писательницей, когда она уже с трудом могла говорить и страдала от мучительных болей. Тэффи благодарила в ней Тамару, вдову скончавшегося двумя годами ранее Бориса Пантелеймонова, принесшую ей морфий, который только и позволял на некоторое время избавиться от мук. Как видим, и в тяжкие свои часы Тэффи не утратила ни силы духа, ни склонности к иронии и шутке.

Такой она и была на протяжении всей жизни – смелой, острой на язык, ироничной, умной, очаровательной, исключительной, несравненной.

Ст. Никоненко

Воспоминания⁶

Автор считает нужным предупредить, что в «Воспоминаниях» этих не найдет читатель ни прославленных героических фигур описываемой эпохи с их глубокой значимости фразами, ни разоблачений той или иной политической линии, ни каких-либо «освещений и умозаключений». Он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей. И найдет он почти исключительно простых, неисторических людей, показавшихся забавными или интересными, и приключения, показавшиеся занятными, и если приходится автору говорить о себе, то это не потому, что он считает свою персону для читателя интересной, а только потому, что сам участвовал в описываемых приключениях и сам переживал впечатления и от людей, и от событий, и если вынуть из повести этот стержень, эту живую душу, то будет повесть мертва.

Автор

⁶ Первый раздел настоящего издания состоит из «Воспоминаний» Н. А. Тэффи, впервые публиковавшихся на протяжении полутора лет на страницах газеты «Возрождение» (Париж) с середины декабря 1928 г. и выпущенных книгой в 1932 г. в издательстве той же газеты. — *Здесь и далее Ст. Никоненко.*



1

Москва. Осень. Холод.

Мое петербургское житье-бытье ликвидировано. «Русское слово» закрыто⁷. Перспектив никаких.

Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита-антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу устраивать мои литературные выступления.

Убеждал мрачно.

– Сегодня ели булку? Ну так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу, я вам плачу шестьдесят процентов с валового сбора, в «Лондонской»⁸ гостинице лучший номер заказан по телеграфу, на берегу моря, солнце светит, вы читаете рассказ-другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину, вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне – меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-богу, едем! Лучший номер в «Международной» гостинице.

– Вы говорили в «Лондонской»?

– Ну в «Лондонской». Плоха вам «Международная»⁹?

Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину.

– Этот псевдоним Гуськин – какой-то странный.

– Чем странный? – отвечали люди опытные. – Не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры.

Сомнения пресек Аверченко¹⁰. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним. Тоже на гастроли. Решили выехать вместе. Аверченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи.

– Ну вот видите! – ликовал Гуськин. – Теперь только похлопочите о выезде, а там все пойдет как хлеб с маслом.

Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить почему. Идиосинкразия¹¹. А тут еще псевдоним Гуськин с процентами, которые он называет «порценты». Но кругом говорили: «Счастливая – вы едете!», «Счастливая – в Киеве пирожные с кремом». И даже просто: «Счастливая... с кремом!»

Все складывалось так, что надо было ехать. И все кругом хлопотали о выезде, а если не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, то хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи.

– У моего кума был дом в Полтаве.

– А моя фамилия, собственно говоря, не Нефедин, а Нехведин, от Хведько, малороссийского корня.

⁷ «Русское слово» закрыто. – «Русское слово» – ежедневная московская газета либерального направления (1895–1917, 26 ноября /9 декабря/). Издатели – И. Д. Сытин и В. М. Дорошевич, с 1902 г. – фактические редакторы А. В. Амфитеатров, П. Д. Боборыкин, Вас. И. Немирович-Данченко. Тираж 600–800 тыс. экз. в 1917 г. С января по июль 1918 г. выходила под названиями «Новое слово», «Наше слово», в июле окончательно закрыта как выступавшая против большевиков. В 1910-х годах Тэффи была постоянным сотрудником этой газеты.

⁸ «Лондонская» – одна из лучших гостиниц в Одессе, на Графской набережной.

⁹ «Международная» – гостиница в Одессе.

¹⁰ Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925), писатель-юморист, драматург, театральный критик. Создатель и редактор журналов «Сатирикон» (1908–1913) и «Новый Сатирикон» (1913–1918). В журналах Аверченко активно сотрудничала Тэффи.

¹¹ Идиосинкразия (от греч. *idios* – своеобразный и *synkrisis* – смешение) – повышенная, болезненная чувствительность по отношению к чему-либо, отрицательная реакция.

– Люблю цыбулю с салом!
– Попова уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Кокины, Пупины, Фики, Шпруки. Все уже там.

Гуськин развил деятельность.

– Завтра в три часа приведу вам самого страшного комиссара с самой пограничной станции. Зверь. Только что раздел всю «Летучую мышь»¹². Все отобрал.

– Ну уж если они мышей раздевают, так где уж нам проскочить!

– Вот я приведу его познакомиться. Вы с ним полюбезничайте, попросите, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр.

Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведающем делами театральными. Там очень томная дама, в прическе Клео де Мерод¹³, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли.

Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди долгие, долгие часы. Наконец солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась – и вышел «сам». Кто он был – не знаю. Но был он, как говорились, – «весь в пулеметах».

– Вы такая-то?

– Да, – призналась. (Все равно теперь уже не отречешься.)

– Писательница?

Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено, – иначе чего же он выскочил.

– Так вот потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так. Проставьте число и год.

Пишу дрожащей рукой. Забыла число. Потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал.

– Та-ак! – мрачно сказал «сам». Сдвинул брови. Прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал вбок в интимной улыбке: – Это мне... захотелось для автографа!

– Очень лестно!

Пропуск дан.

Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный. Не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие. Он был носоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные, выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, ахиллесова пята. Она в этих сапогах, и змей стал готовить свое жало.

– Мне говорили, что вы любите искусство... – начинаю я издали и... вдруг сразу наивно и женственно, словно не совладав с порывом, сама себя перебила: – Ах, какие у вас чудные сапоги!

Нос покраснел и слегка разбухает.

– Мм... искусство... я люблю театры, хотя редко приходилось...

– Поразительные сапоги! В них прямо что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек!

– Нет, почему же... – слабо защищается комиссар. – Положим, я с детства любил красоту и героизм... служение народу...

¹² Только что раздел всю «Летучую мышь». – «Летучая мышь» – первый в России театр-кабаре, работавший в 1908–1920 гг. в Москве под руководством Н. Ф. Балиева; после 1920 г. продолжил выступления в Париже. Актер и режиссер Балиев Никита Федорович (наст. имя и фам. Балян Мкртич Асвапурович; 1876, по другим данным, 1877–1936) создал театр, по сути, выросший из «капустников» МХТ. Блистательно выступая в качестве конферансье и пародиста, Балиев утверждал новый для русского театра жанр.

¹³ ...в прическе Клео де Мерод... – Клео де Мерод (1874–1966) – знаменитая французская танцовщица, законодательница мод.

«Героизм и служение» – слова в моем деле опасные. Из-за служения раздели «Летучую мышь». Надо скорее базироваться на красоте.

– Ах, нет, нет, не отрицайте! Я чувствую в вас глубоко художественную натуру. Вы любите искусство, вы покровительствуете проникновению его в народные толщи. Да – в толщи, и в гущи, и в чащи. У вас замечательные сапоги. Такие сапоги носил Торквато Тассо¹⁴... и то не наверное. Вы гениальны!

Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудия производства.

Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная двумя авторами – Лоло и мною¹⁵.

Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что «искусство действительно имеет за собой» и что я могу провезти все, что мне нужно, – он будет «молчать, как рыба об лед».

Больше я комиссара не видала.

Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно.

Из Петербурга приехала Каза-Роза, бывшая певица «Старинного театра»¹⁶. В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность: она знала, что у кого есть и кому что нужно.

Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила:

– В Криво-Арбатском переулке, на углу, в Суровской лавке осталось еще полтора аршина батиста¹⁷; вам непременно нужно его купить.

– Да мне не нужно.

– Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уже нигде ничего не останется.

В другой раз прибежала запыхавшаяся.

– Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье!

– ?

– Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу в москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уже никогда не представится.

Лицо серьезное, почти трагическое.

Ужасно не люблю слова «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась.

Покорила Каза-Розе, купила роскошный лоскут с семью гвоздями.

Странные были эти последние дни.

По черным ночным улицам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку «Сильва»¹⁸ или в обшарпанных кафе, набитых публикой в рваных, пахнущих мокрой

¹⁴ *Торквато Тассо* (1544–1595) – итальянский поэт.

¹⁵ *Лоло* (Lolo – псевд.; наст, имя и фам. Леонид Григорьевич Мунштейн; 1866/67–1947) – поэт-сатирик, фельетонист, драматург, театальный критик, переводчик, издатель (журнал «Рампа и жизнь», издателем-редактором которого в 1909–1918 гг. был Лоло, являлся самым популярным театральным изданием), мемуарист. В соавторстве с Тэффи им написано несколько комедий, в том числе музыкальных. Музыкальная комедия «Екатерина II» на музыку Ж. Оффенбаха была впервые поставлена в сентябре 1918 г. в Москве в театре «Эрмитаж».

¹⁶ *Из Петербурга приехала Каза-Роза, бывшая певица «Старинного театра»*. – Каза-Роза (Казарова) Белла Георгиевна (1885–1926), певица, жена художника Александра Яковлева, постоянного сотрудника журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». В «Старинном театре» Каза-Роза исполняла роль Лжедмитрия, а в «Бродячей собаке» пела песенки на слова Тэффи.

¹⁷ ...в Суровской лавке осталось еще полтора аршина батиста. – Суровскими лавками до революции называли магазины, где продавались шелковые, бумажные и легкие шерстяные ткани.

¹⁸ ...бегали мы слушать оперетку «Сильва»... – «Сильва» (1915) – оперетта венгерского композитора Имре Кальмана (1882–1953).

псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов¹⁹ не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их «эротический вечер»!

Всем хотелось быть «на людях»...

Одним, дома, было жутко.

Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге.

Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он. В Киеве? Или там, откуда не вернется?

Жили как в сказке о Змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать двенадцать девиц и двенадцать добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их. А вот тогда, в Москве, думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платишко. Везде может жить человек, и я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом.

Так и мы. Покупали какие-то «последние лоскутья», слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканно-эротические стихи, скверные, хорошие – не все ли равно, – только бы не знать, не сознать, не думать о том, что нас тащат на лед.

Из Петербурга пришла весточка: известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В Чека заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными со штыками. И вдруг – о, радостное чудо! – после первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку.

– Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно аполитичен.

Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже «в ударном порядке развлечения».

В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц. Переменить климат.

А Гуськин все развивал деятельность. Больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру к Аверченке.

– Понимаете, какой ужас, – потрясая руками, рассказывал он. – Прибегал сегодня в десять утра к Аверченке, а он спит как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает!

– Да ведь мы же только через пять дней едем.

– А поезд уходит в девять. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь? Он будет спать, а мы будем ждать? Новое дело!

Бегал. Волновался. Торопился. Хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гуськин-псевдоним, не знаю, где вы...

¹⁹ Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик, литературно-общественный деятель; один из вождей и теоретиков русского символизма. Инициатор и руководитель ведущих органов символистов – издательства «Скорпион» (1899–1916) и журнала «Весы» (1904–1908), основанных С. А. Поляковым. В 1900-е годы руководил литературным отделом научного, литературного и политического журнала «Русская мысль», издававшегося ежемесячно в Москве в 1880–1918 гг.

2

Намеченный отъезд постоянно откладывался.

То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежда наша и упование – комиссар Нос-в-сапогах еще не успел вернуться на свою станцию.

Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен. Другой сундук, в котором были сложены (последнее мое увлечение) старинные русские шали, поставлен был в квартире Лоло.

– А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности и все эти вещи конфискуют?

Я попросила, в случае опасности, заявить, что сундук пролетарского происхождения, принадлежит бывшей кухарке Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением – положила сверху портрет Ленина с надписью: «Душеньке Феничке в знак приятнейших воспоминаний. Любящий Вова».

Впоследствии оказалось, что и это не помогло.

Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Так с берега в весенние сумерки, если смотришь на ледоход, видишь – плывет-кружится не то воз с соломой, не то хата, а на другой льдине будто волк и обугленные головешки. Покружится, повернется, и унесет его течением навсегда. Так и не разберешь, что это, собственно говоря, было.

Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса.

Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо: мой портрет работы художника Плейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица...

Неожиданно прибило к нашему берегу Л. Яворскую²⁰. Пришла, элегантная, как всегда, говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно – никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно «мосье Соболев». Льдина повернулась, и они уплыли в тумане...

Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какие-то пьесы в театрике на окраине и тоже исчезла.

Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего разрешения, привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видела за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные: детские стихи из хрестоматии и уверения, что до встречи с нами он жил только умом (с ударением на «у»), а теперь зажил сердцем.

Целые дни он ловил бандитов. Устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал деловые профессионально-воров-

²⁰ Яворская Лидия Борисовна (1871–1921) – драматическая актриса, первая жена (с 1896) драматурга и прозаика князя Владимира Владимировича Барятинского (1874–1941).

ские чемоданчики, с которыми громили идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколона. Одеколон удивил меня.

– Странно – какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога?

Дело объяснилось просто: одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать.

Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы «те самые», и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан.

Иногда ночью звонил телефон. Это ангел-хранитель, переставший жить умом (с ударением на «у»), спрашивал, все ли у нас благополучно.

Перепуганные звонком, успокаивались и декламировали:

Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.

Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда, проводил на вокзал и охранил наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов.

У всех нас, отъезжающих, было много печали – и общей всем нам, и у каждого своей, отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как кости и череп на фуражке «гусаров смерти». Но никто не говорил об этой печали.

Помню нежный силуэт молодой арфистки, которую потом, месяца через три, предали и расстреляли. Помню свою печаль о молодом друге Лёне Каннегиссере²¹. За несколько дней до убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве.

– Почему же не у меня?

– Я тогда и объясню почему.

Условились пообедать у общих знакомых.

– Я не хочу наводить на вашу квартиру тех, которые за мной следят, – объяснил Каннегиссер, когда мы встретились.

Я тогда сочла слова мальчишеской позой. В те времена многие из нашей молодежи принимали таинственный вид и говорили загадочные фразы.

Я поблагодарила и ни о чем не расспрашивала.

Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший.

Ах, как часто вспоминаем мы потом, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И потом мы всегда знаем, что надо было сделать тогда, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп. И это отнюдь не эгоизм и не равнодушие, потому что иногда легче было бы остановиться, чем пройти мимо. Так, по плану трагического романа «Жизнь Каннегиссера» великому Автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо. Как во сне – вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу...

²¹ *Каннегиссер* (Каннегисер) Леонид Иоакимович (1896–1918) – поэт, переводчик. Дружил с С. Есениным. Как поэта его высоко оценивали М. Цветаева, Г. Иванов, И. Одоевцева и др. При жизни было опубликовано лишь несколько стихотворений. 30 августа 1918 г. Каннегиссер застрелил председателя Петроградской Чрезвычайной комиссии М. С. Урицкого. Был осужден и расстрелян.

Вот так и мы, писатели, по выражению одного из современных французских литераторов, «подражатели Бога» в Его творческой работе, мы создаем миры и людей и определяем их судьбы, порой несправедливые и жестокие. Почему поступаем так, а не иначе – не знаем. И иначе поступить не можем.

Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко:

– Можно у вас спросить? Вы не рассердитесь?

– Можно. Не рассержусь.

– Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели ну хоть приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коммивояжер остался в дураках. Ведь ему же это неприятно. Зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Почему?

– Не знаю... Не могу... Это не от меня зависит...

Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали, и такая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мною обиженных и в рассказах, и в пьесах и вознагражу всех.

– Чудесно! – сказала актриса. – Вот это будет рай!

И она поцеловала меня.

– Но боюсь одного, – остановила я ее. – Боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам...

Ну вот – утром едем на вокзал.

Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченке, от Аверченки к его импресарию, от импресарию к артистам, лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны и в семь часов утра влетел ко мне запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь. Взглянул и безнадежно махнул рукой.

– Ну конечно. Новое дело. Опоздали на вокзал!

– Быть не может! Который же час?

– Семь часов, десятый. Поезд в десять. Все кончено.

Гуськину дали кусок сахара, и он понемногу успокоился, грызя это попугайное угощение.

Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль.

Чудесное осеннее утро. Незабываемое. Голубое, с золотыми куполами – там, наверху. Внизу – серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных... Высокий старик в бобровой шапке несет узелок в бабьем кумачовом платочке... Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый лорнет... Очередь у молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги...

«Прощай, Москва, милая. Ненадолго. Всего на месяц. Через месяц вернусь. Через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя»²².

– Когда идешь по канату, – рассказывал мне один акробат, – никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот. Нужно верить, что все удастся, и непременно напевать.

Веселый мотив из «Сильвы» со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах:

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка,
Любовь из всех мужчин
Наделала слепых...

²² «Прощай, Москва, милая. Ненадолго. Всего на месяц. Через месяц вернусь... А что потом будет, об этом думать нельзя». – Тэффи в Москву так и не вернулась.

Какая лошадь сочинила это либретто?..

У дверей вокзала ждет Гуськин и гигант-комиссар, переставший жить умом (с ударением на «у»).

«Москва, милая, прощай. Через месяц увидимся».

С тех пор прошло десять лет...

3

Началось наше путешествие довольно гладко.

Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте, не под скамейкой и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается.

Антрепренер мой, псевдоним Гуськин, волновался – почему поезд долго не отходит, а когда отошел – стал уверять, что отошел преждевременно.

– И это недобрый знак! Еще увидите, что будет.

Вид у Гуськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует дней десять и вдобавок при самых зверских условиях: башмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки. И что совсем уж странно – щеки покрылись щетиной, будто он дня четыре отпускает бороду.

Кроме нашей группы сидели в том же отделении три дамы. Разговоры велись то вполголоса, а то и совсем шепотом на тему, близкую переживаемому моменту: как кто словчился перевезти за границу бриллианты и деньги.

– Слыхали? Прокины все свое состояние перевезли. Накрутили на бабушку.

– А почему же бабушку не осматривали?

– Ох, и что вы! Она такая неприятная. Ну кто же решится!..

– А Коркины как ловко придумали. И всё экспромтом! Мадам Коркина, уже обшаренная, стоит в стороне, и вдруг – «ах, ах!» – нога у нее подвернулась. Не может шага сделать. А муж, еще не обшаренный, говорит красноармейцу: «Передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подопрется». Тот передал. А палка-то у них долбленая и набита бриллиантами. Ловко?

– У Булкиных чайник с двойным дном.

– Фаничка провезла большущий бриллиант, так вы не поверите – в собственном носу.

– Ну, ей хорошо, когда у нее нос на пятьдесят карат. Не всякому такое счастье.

Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фук спрятала очень хитро бриллиант в яйцо. Сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. Пойди-ка найди. Положила яйцо в корзинку с провизией и спокойно сидит, улыбается. Входят в вагон красноармейцы. Осматривают багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же, на глазах мадам Фук, слопал. Несчастная женщина так дальше и не поехала. Вылезла на станции, три дня ходила за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала.

– Ну и что же?

– Э, где там! Так ни с чем и домой вернулась.

Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов²³.

– До того эти шпионы нахитрились! Подумайте только: стали у себя на спине зарисовывать планы крепостей, а потом сверху закрашивать. Ну, военная разведка тоже не глупая – живо догадалась. Стали всем подозрительным субъектам спины мыть. Конечно, случались досадные ошибки. У нас в Гродно поймали одного господина. На вид – прямо подозрительный брюнет. А как вымыли его, оказался блондин и честнейший малый. Разведка очень извинялась...

Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно, но не проехали мы и трех часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться. Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе часа два и влезли в другой поезд, весь третьеклассный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились.

²³ Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов. – Имеется в виду Первая мировая война 1914–1918 гг.

– Едут, – сказала про нас рябая с бородавкой. – Едут, а чего едут и зачем едут, и сами не знают.

– Что с цепи сорвавши, – согласилась с ней другая в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос.

Больше всего раздражала их китайская собачка пекинуа, крошечный шелковый комочек, которую везла на руках старшая из наших актрис.

– Ишь, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет.

– Оставила бы дома. Людям сесть некуда, а она собачищу везет!

– Она же вам не мешает, – дрожащим голосом вступилась актриса за свою «собачищу». – Все равно бы я вас к себе на колени не посадила.

– Небось мы собак с собой не возим, – не унимались бабы.

– Ее одну дома оставлять нельзя. Она нежная. За ней ухода больше, чем за ребенком.

– Чаво-о?

– Ой, да что же это? – вдруг окончательно взбеленилась рябая и даже с места вскочила. – Эй! Послушайте-ка, что тут говорят-то. Вон энта в шляпке говорит, что наши дети хуже собак! Да неужто мы это сносить должны?

– Кто-о? Мы-ы? Мы собаки, а она нет? – зароптали злобные голоса.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дикий визг не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на площадке. Все сорвались с мест, кинулись узнавать. Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам, как там поймали вора и собрались его «под вагон спускать», да тот на ходу прыгнул.

– Жуткие типики, – сказал Аверченко. – Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом.

Думаю. Вот сегодня вечером зажгутся в театре огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать:

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка,
Любовь из всех мужчин
Наделала слепых...

И зачем я только вспомнила! Опять привязался этот идиотский куплет! Как болезнь!

Кругом бабы весело гуторят, как бы хорошо было вора под колеса спустить и что он теперь не иначе как с проломленной головой лежит.

– Самосудом их всех надо! Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею да в воду!

– У нас в деревне подо льдом проволакивали на веревке из одной проруби да в другую...

– Жгут их тоже много...

О, интересно, – что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроения.

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка...

– Какой ужас! – говорю я Аверченке.

– Тише... – останавливает он.

– Я не про них. У меня своя пытка. Не могу от «Сильвы» отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили (может быть, это поможет). Воображаю, как моя рябая визави суежилась бы! Она хозяйственная. Раздувала бы щепочки... А что бы говорил Гуськин? Он бы

кричал: «Позвольте, но у нас контракт! Вы мешаете ей выполнить договор и разоряете меня как антрепренера! Пусть она сначала заплатит мне неустойку!»

«Индейка и злодейка» понемногу стали отходить, глохнуть, гаснуть.

Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами, загромыхали сапожищи солдат, мешки, кули, корзины закрыли свет Божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гуськина: он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось?

Страшный, белый, задыхается.

– Вылезайте скорее! Маршрут меняется. По той дороге проехать нельзя. Потом объясню.

Нельзя так нельзя. Вылезаем. Я замешкалась и выхожу последняя. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит:

– Любовь-злодейка, любовь-индейка. Пожалуйста полтинник!

– Что-о?

– Полтинник! Любовь-злодейка, любовь-индейка.

Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. Не могли, видно, мои слабые силы перенести этой смеси: оперетку «Сильва» с народным гневом.

Ищу дружеской поддержки. Ищу глазами нашу группу. Аверченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую мальчишке полтинник. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь...

– Признавайтесь сейчас же! – говорю Аверченке.

Он сконфуженно смеется.

– Пока, – говорит, – вы в вагоне возились, я этого мальчишку научил: хочешь, спрашиваю, деньги заработать? Так вот, сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке. Ты подойди к ней и скажи: «Любовь-злодейка, любовь-индейка». Она за это всегда всем по полтиннику даст. Мальчишка оказался смысленный.

Гуськин, хлопотавший у багажного вагона с нашими сундуками, подошел, обливаясь зеленым потом ужаса.

– Новое дело! – трагическим шепотом сказал он. – Этот бандит расстрелялся!

– Какой бандит?

– Да ваш комиссар. Чего вы не понимаете? Ну? Расстреляли его за грабежи, за взятки. Через ту границу ехать нельзя. Там теперь не только оберут, а еще и зарежут. Попробуем проехать через другую.

Через другую так через другую. Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону.

Приехали на пограничную станцию вечером. Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет? Скоро ли выпустят отсюда и как поедem дальше?

Гуськин с Аверченкиным «псевдонимом» ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения, строго наказав нам стоять и ждать. Ауспиции были тревожны²⁴.

Платформа была пустая. Изредка появлялась какая-то темная фигура, не то сторож, не то баба в шинели, смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин. Не один. С ним четверо.

Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду: маленький, худой, черный, кривоносы́й человечек в студенческой фуражке и в огромной великолепной бобровой шубе, которая стлалась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно, только что содранная с чьих-то плеч.

²⁴ *Ауспиции были тревожны.* – Ауспиции – в Древнем Риме первоначально гадание по птицам для того, чтобы узнать «волю богов», впоследствии гадание вообще – по полету птиц, по голосам животных, по различным явлениям на небе и т. д.; ауспиции совершались авгурами перед началом каждого важного государственного предприятия (авгуры – жреческая коллегия у древних римлян). *Здесь:* предзнаменования.

Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом, подтянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул:

– Вы Тэффи? Вы Аверченко? Браво, bravo и bravo. Перед вами комиссар искусств этого местечка. Запросы огромные. Вы, наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями, ряд спектаклей, во время которых исполнители – местный пролетариат – под вашим руководством разыграют ваши пьесы.

Актриса с собачкой, тихо ахнув, осела на платформу. Я оглянулась кругом. Сумерки. Маленький вокзальчик с палисадничком. Дальше убогие местечковые домишки, заколоченная лавчонка, грязь, голая верба, ворона и этот Робеспьер²⁵.

– Мы бы, конечно, с удовольствием, – спокойно отвечает Аверченко, – но, к сожалению, у нас снят киевский театр для наших вечеров, и мы должны очень спешить.

– Ничего подобного! – воскликнул Робеспьер и вдруг понизил голос: – Вас никогда не пропустят через границу, если я об вас не попрошу специально. А почему я буду просить? Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетариата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили ваш багаж!..

Тут неожиданно выскочил Гуськин и хлопотал:

– Господин комиссар. Ну, конечно же, они соглашаются. Я хотя теряю на этой задержке огромный капитал, но я сам берусь их уговорить, хотя я сразу понял, что они уже рады служить нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер. Но какой вечер! Такой вечер, что вы мне оближете все пальчики. Вот как! Завтра вечер, послезавтра утром в путь. Ну, вы уже согласны, ну, вы уже довольны. Но где бы нам переночевать наших гостей?

– Стойте здесь. Мы сейчас все устроим, – воскликнул Робеспьер и побежал, заматаывая следы бобрами. Три фигуры, очевидно, его свита, последовали за ним.

– Попали! В самое гнездо! Каждый день расстрелы. Три дня тому назад сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают. Надо выкручиваться.

– Пожалуй, придется ехать назад в Москву.

– Тсс!.. – шелестел Гуськин. – Они вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили? Так они вас не пустят! – с жутким ударением на «не» сказал он и замолчал.

Вернулся Аверченкин антрепренер. Шел, прижимаясь к стенке, и оглядывался, втягивая голову в плечи.

– Где же вы были?

– Сделал маленькую разведку. Беда... Некуда сунуться. Местечко битком набито народом.

С удивлением оглядываюсь. Так не вяжутся эти слова с пустотой этих улиц, с тишиной и синими сумерками, не прорезанными лучом фонаря.

– Где же все эти люди? И почему они здесь сидят?

– Почему! По две-три недели сидят. Не выпускают их отсюда ни туда, ни сюда. Что здесь делается! Не могу говорить!.. Тсс!..

По платформе широкой птицей летел на бобрах наш Робеспьер. За ним свита.

– Помещение для вас найдено. Две комнаты. Сейчас оттуда выселяют. Сколько их там набито... с детьми... такой рев подняли! Но у меня ордер. Я реквизирую на нужды пролетариата.

И снова левой рукой подтянул штаны, а правую вдохновенно простер вперед и вверх, как бы обозначая путь к дальним звездам.

²⁵ Робеспьер Максимилиан Мари Изидор (1758–1794) – выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., один из вождей якобинцев. Здесь, разумеется, Тэффи иронизирует.

– Знаете что, – сказала я, – это нам совсем не подходит. Вы их, пожалуйста, не выселяйте. Мы туда пойти не можем.

– Да, – подтвердил Аверченко. – Там у них дети, понимаете, это не годится.

Гуськин вдруг весело развел руками.

– Да, они у нас такие, хе-хе! Ничего не поделаешь! Да вы уж не беспокойтесь, мы где-нибудь притулимся. Они уж такие...

Приглашал публику веселым жестом удивляться, какие, мол, мы чудачки, но сам, конечно, душою был с нами.

Робеспьер растерялся. И тут неожиданно выдвинулся какой-то субъект, до сих пор скромно прятавшийся за спиной свиты.

– Я м-могу пре-предложить по-по-э-э... ку-ку...

– Что?

– Ку-комнаты.

Кто такой? Впрочем, не все ли равно.

Повели нас куда-то за вокзал в домик казенного типа. Заика оказался мужем дочери бывшего железнодорожника.

Робеспьер торжествовал.

– Ну вот, ночлег я вам обеспечил. Устраивайтесь, а я вечером загляну.

Заика мычал, кланялся.

Устроились.

Мне с актрисами дали отдельную комнату. Аверченку взял к себе заика, «псевдонимов» упрятали в какую-то кладовку.

Дом был тихий. По комнатам бродила пожилая женщина, такая бледная, такая измученная, что казалось, будто ходит она с закрытыми глазами. Кто-то еще шевелился на кухне, но в комнату не показывался: кажется, жена заики.

Напоили нас чаем.

– Можно бы ве-э-э-тчины... – шепнул заика. – Пока светло...

– Нет, уже стемнело, – прошелестела в ответ старуха и закрыла глаза.

– Мм-а-ммаша. А если без фонаря, а только спички...

– Иди, если не боишься.

Заика поехал и остался. Что все это значит? Почему у них ветчину едят только днем? Спросить неловко. Вообще, спрашивать ни о чем нельзя. самого простого вопроса хозяева пугаются и уклоняются от ответа. А когда одна из актрис спросила старуху, здесь ли ее муж, та в ужасе подняла дрожащую руку, тихо погрозила ей пальцем и долго, молча всматривалась в черное окно.

Мы совсем притихли и сжались. Выручал один Гуськин. Он громко отдувался и громко говорил удивительные вещи:

– А у вас, я вижу, шел дождь. На улице мокро. Когда идет дождь, так уж всегда на улице мокро. Когда в Одессе идет, так и в Одессе мокро. Так и не бывает, чтобы в Одессе шел дождь, а в Николаеве было мокро. Ха-ха! Уж где идет дождь, так там и мокро. А когда нет дождя, так не дай бог как сухо. Ну а кто любит дождь, я вас спрашиваю? Никто не любит, ей-богу. Ну чего я буду врать. Хе!

Гуськин был гениален. Оживлен и прост. И когда распахнулась дверь и влетел Робеспьер, сопровождаемый свитой, усиленной до шести человек, он нашел уютную компанию, собравшуюся вокруг чайного стола послушать занятного рассказчика.

– Великолпно, – воскликнул Робеспьер. Подтянул левой рукой штаны и, не снимая шубы, сел за стол. Свита разместилась тоже.

– Великолепно. Начало в восемь. Барак декорирован еловыми шишками. Вместимость – полтора человека. Утром расклеиваем плакаты. А сейчас побеседуем об искусстве. Кто главнее – режиссер или хор?

Мы растерялись, но не все. Молоденькая наша актриса, как полковая лошадь, услышавшая звуки трубы, сорвалась и понесла – кругами, прыжками, поворотами. Замелькал Мейерхольд²⁶ с «треугольниками соотношения сил», Евреинов²⁷ с «театром для себя», *Commedia dell'arte*²⁸, актеротворчество, «долгой рампу», соборное действо и тра-та-ра-та-ра-та.

Робеспьер был упоен.

– Это как раз то, что нам нужно! Вы останетесь у нас и прочтете несколько лекций об искусстве. Это решено.

Бедная девочка побледнела и растерянно смотрела на нас.

– У меня контракт... я через месяц могу... я вернусь... я клянусь...

Но теперь уже понесся Робеспьер. У него был свой репертуар: пьеса на заумном языке. Широкое развитие жеста. Публика сама сочиняет пьесы и тут же их разыгрывает. Актеры изображают публику, для чего нужен большой талант, чем для обычной рутинной актерской игры.

Все шло гладко. Нарушала мирную картину культурного уюта только маленькая собачка. Робеспьер производил на нее явно злое впечатление. Крошечная, как шерстяная рукавица, она рычала на него с яростью тигра, щерил бисерные зубки и вдруг, закинув голову, завывала, как простой цепной барбос. И Робеспьер, несшийся на крыльях искусства в неведомые просторы, вдруг почему-то страшно испугался и осекся на полуслове.

Актриса унесла собачку.

На минутку все притихли. И тогда где-то недалеко от дома по направлению к железнодорожной насыпи послышался какой-то словно нечеловеческий, словно козлиный вопль, столько в нем было животного ужаса и отчаяния. Затем три сухих ровных выстрела, отчетливых и деловитых.

– Вы слышали? – спросила я. – Что это такое может быть?

Но никто не ответил мне. По-видимому, никто не слышал.

Бледная хозяйка сидела не шевелясь, закрыв глаза. Хозяин, все время молчавший, судорожно тряс челюстью, точно и думал заикаясь. Робеспьер с жаром заговорил о завтрашнем вечере, заговорил значительно громче, чем раньше. Из этого я поняла, что он что-то слышал...

Свита все время молча курила и в разговор не вмешивалась. Один из свиты, курносый парень в бурой драной гимнастерке, вынул золотой массивный портсигар с литым вензелем. Протянулась чья-то заскорузлая лапа с обломанными ногтями; на лапе тускло блеснул чудес-

²⁶ Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) – режиссер-новатор, актер МХТ (с 1898), театральный деятель. Имеется в виду высказывание Мейерхольда: «Треугольник, где верхняя точка – режиссер, две нижние точки: автор и актер. Зритель воспринимает творчество двух последних через творчество режиссера...» (Мейерхольд В. Театр: (К истории и технике) // Театр. Книга о новом театре. СПб., 1908. С. 159).

²⁷ Евреинов Николай Николаевич (1879–1953) – русский режиссер, драматург, теоретик и историк театра. В работах «Введение в монодраму» (1909), «Театр как таковой» (1912), «Театр для себя» (ч. 1–3, 1915–1917), «Происхождение драмы» (1921) и др. выдвинул модернистскую концепцию театра и театральности, которую рассматривал как врожденный инстинкт, определяющий мышление и поведение человека. Театр, по Евреинову, лишь частная форма удовлетворения «инстинкта преобразования». Отрицая роль драматурга как первоосновы театра, придавал решающее значение зрелищности. Для театральной эстетики Евреинова характерны экзотика, вычурность, культ искусственности, примитива. Наиболее совершенной формой сценически-драматургического искусства считал монодраму. Писал также арлекинады, трагифарсы, пользовался приемами гротеска, буффонады.

²⁸ *Commedia dell'arte* (um.) – комедия масок – вид театра, получивший развитие в Италии в середине XVI и в XVII в.; спектакли строились на импровизации, буффонаде; широко использовались диалекты; постоянные персонажи-маски – Панталоне, Доктор и двое слуг (дзанны) – Бригелла и Арлекин – переходили из одного спектакля в другой. В начале XX в. происходила революция во многих видах искусства (в литературе, танце, живописи), в том числе и в театре. Один из принципов нового театра выражал призыв: «долгой рампу». Смысл этого призыва состоял в приближении актера к зрителю, в снятии перегородки между ними, в вынесении действия в зрительный зал, в соучастии зрителей в театральном действии.

ный рубин-кабошон²⁹, глубоко потопленный в массивную оправу старинного перстня. Странные наши гости!..

Молоденькая актриса задумчиво обошла вокруг стола и встала у стены. Я почувствовала, что она зовет меня глазами, но не встала. Она смотрела на спину Робеспьера, нервно дергая губами...

– Оленушка, – сказала я. – Пора нам спать. Завтра с утра будем репетировать.

Распрощались общим поклоном и пошли к себе. Тихая хозяйка пошла за нами со свечкой.

– Свет погасите, – шепнула она. – Разденьтесь уж как-нибудь впотьмах... А штору, ради Бога, не спускайте.

Мы стали спешно устраиваться. Она задула свечку.

– Так помните про штору. Ради Бога...

Ушла.

Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса – Оленушка.

– У него на этой чудесной шубе на спине дырка... – шепчет она, – и что-то темное вокруг... что-то страшное.

– Спите, Оленушка. Все мы устали и нервничаем.

Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит.

И на рассвете Оленушка говорит во сне жутким громким голосом:

– Я знаю, отчего она воет. У него шуба прострелена и кровь запеклась.

У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это и не видя знала...

Утром проснулись поздно. Холодный серый день. Дождь. За окном сараи, амбары, подальше насыпь. Пусто. Ни души.

Хозяйка принесла нам чаю, хлеба, ветчины.

И шепотом:

– Зять достал ее на рассвете. Она спрятана в сарае. Ночью, если пойти с фонарем, – донесут. А днем тоже увидят. Придут обыскивать. У нас каждый день обыски.

Сегодня она словоохотливее. Но лицо «молчит». Лицо каменное, точно боится она сказать лицом больше, чем хочет.

В дверь стучит Гуськин.

– Вы скоро? Здешняя... молодежь уже два раза прибегала.

Хозяйка уходит. Я приоткрываю дверь, подзываю Гуськина:

– Гуськин, скажите, все благополучно? Выпустят нас отсюда? – шепотом спрашиваю я.

– Улыбайтесь, ради Бога, улыбайтесь, – шепчет Гуськин, растягивая рот в зверской улыбке, как «L'homme qui rit»³⁰.

– Улыбайтесь, когда разговариваете, может, кто, не дай Бог, подсматривает. Обещали выпустить и дать охрану. Здесь начинается зона сорок верст. Там грабят.

– Кто же грабит?

– Ха! Кто? Они же и грабят. Ну а если будут провожатые из самого главного пекла, так они таки побоятся. Одно скажу: мы должны отсюда завтра уехать. Иначе, ей-богу, я буду очень удивлен, если когда-нибудь увижу свою мамашу.

Мысль была сложная, но явно неутешительная.

– Сегодня весь день сидите дома. Выходить не надо. Устали и репетируют. Все репетируют, и все устали.

²⁹ Рубин-кабошон – рубин, которому в результате особой шлифовки придана форма выпуклой с одной стороны линзы или полусферы.

³⁰ «Человек, который смеется» (фр.).

– А вы не знаете, где сам хозяин?

– Точно не знаю. Или он расстрелян, или он бежал, или он здесь под полом сидит. А то чего они так боятся? Весь день, всю ночь двери и окна открыты. Отчего не смеют закрыть? Почему показывают, что ничего не прячут? Но чего нам с вами об этом думать? И чего об этом рассуждать? Что, нам за это заплатят? Дадут почетное гражданство? У них тут были дела, такие дела, которые пусть у нас не будут. Этот заикается стал отчего? Три недели заикается. Так мы не хотим заикаться, мы лучше себе уедем с сундучками и с охраной.

В столовой двинули стулом.

– Скорей репетировать! – громко закричал Гуськин, отскочив от двери. – Вставайте скорее! Ей-богу, одиннадцать часов, а они спят как из ведра!

Мы с Оленушкой под предлогом усталости просидели весь день у себя... Аверченко, антрепренер и актриса с собачкой приняли на себя беседу с вдохновенными «культуртрегерами». Ходили даже с ними гулять.

– Любопытная история, – рассказывал, вернувшись, Аверченко. – Видите тот разбитый сарай? Рассказывают, что месяца два тому назад здесь большевикам пришлось плохо и какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спешно удирать. Он вскочил на паровоз и велел железнодорожнику везти себя. А тот взял да и пустил машину полным ходом в стену депо. Большевик заживо сварился.

– А тот?

– Того не нашли.

– Может быть... это и есть наш хозяин?..

4

Бесконечно тянулся день, сумеречный, мокрый.

Мы забились в нашу «дамскую» комнату, туда же пришел и Аверченко. Точно по уговору, никто не говорил о том, что в настоящий момент больше всего волновало... Вспоминали о последних московских днях, об оставленной компании этих последних дней. Ни о настоящем, ни о будущем ни слова.

Как-то поживает «высокий (ростом) покровитель»? Все ли еще живет сердцем или снова зажил умом, с ударением на «у»?..

Я вспомнила, как накануне отъезда зашла попрощаться к одной бывшей баронессе. Застала я бывшую баронессу за очень нетитулованным занятием: она мыла пол. Длинная, желтая, с благородно-лошадиным лицом, сидела она на корточках и, прижав к глазам бирюзовый лорнет, с отвращением разглядывала половицы. В другой руке деликатно, двумя пальчиками, держала мокрый обрывок кружева и брызгала этим кружевом на пол.

– А вытирать я буду потом, когда мой валансьен³¹ высохнет...

Вспоминали хлеб последних московских дней, двух сортов: из опилок, рассыпавшийся, как песок, и из глины – горький, зеленоватый, всегда сырой...

Аверченко взглянул на часы:

– Ну вот, скоро и вечер. Уж пять часов.

– Кажется, кто-то стукнул в окно, – насторожилась Оленушка.

Под окном Гуськин.

– Госпожа Тэффи! Господин Аверченко! – громко кричит он. – Вы должны непременно немножко пройтись. Ей-Богу, к вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса.

– Да ведь дождь идет!

– Дождь маленький, непременно нужно. Это я вам говорю.

– Он, может быть, хочет что-нибудь сказать, – шепчу я Аверченке. – Выйдите вперед и узнайте, один ли он. Если Робеспьер с ним, я не выйду. Я не могу.

Больше всего я боялась, что мне придется пожать руку этому Робеспьеру. Я могла отвечать на его вопросы, смотреть на него, но дотронуться – чувствовала, что не смогла бы. Такое острое истерическое отвращение было у меня к этому существу, что я не отвечала за себя, не могла поручиться, что не закричу, не заплачу, не выкину чего-нибудь непоправимого, за что придется расплачиваться не только мне самой, но и всей нашей компании. Чувствовала, что физического контакта с этой гадиной не вынесу.

Аверченко показался за окном и поманил меня.

– Не ходите направо, – шепнула мне хозяйка в сенях, делая вид, что ищет мои калоши.

– Идем посреди улицы, – шепнул Гуськин. – Мы себе гуляем для воздуха.

И мы пошли мерно и вольготно, поглядывая на небо – да, все больше на небо, – гуляем, да и только.

– Не смотрите на меня, смотрите себе на дождик, – бормотал Гуськин.

Огляделся, обернулся, успокоился и заговорил:

– Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо – комиссарша Х.

Он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай.

– Х – молодая девица, курсистка, не то телеграфистка – не знаю. Она здесь всё. Сумасшедшая – как говорится, ненормальная собака. Зверь, – выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце. – Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстреливает: сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает. А когда ночью у насыпи, то это уже не она.

³¹ *Валансьен* – тонкие кружева особого плетения (по названию французского города Валансьенн, где они изготовлялись).

И ни в чем не стесняется. Я даже не могу при даме рассказать, я лучше расскажу одному господину Аверченке. Он писатель, так он сумеет как-нибудь в поэтической форме дать понять. Ну, одним словом, скажу, что самый простой красноармеец иногда от крылечка уходит куда-нибудь себе в сторонку. Ну так вот, эта комиссарша никуда не отходит и никакого стеснения не признает. Так это же ужас!

Он оглянулся.

– Повернем немножко в другую сторону.

– А что насчет нас слышно? – спросила я.

– Обещают отпустить. Только комиссарша еще не высказалась. Неделию тому назад проезжал генерал. Бумаги все в порядке. Стала обыскивать – нашла керенку – в лампы себе зашил. Так она говорит: «На него патронов жалко тратить... Бейте прикладом». Ну, били. Спрашивает: «Еще жив?» – «Ну, – говорят, – еще жив». – «Так облейте керосином и подожгите». Облили и сожгли. Не смотрите на меня, смотрите на дождик... мы себе прогуливаемся. Сегодня утром одну фабрикантку обыскивали. Много везла с собой. Деньги. Меха. Бриллианты. С ней приказчик ехал. А муж на Украине. К мужу ехала. Всё отобрали. Буквально всё. В одном платье осталась. Какая-то баба дала ей свой платок. Неизвестно еще, пропустят ее отсюда или... Ой, да куда же мы идем! Вертайте скорей!

Мы почти подошли к насыпи.

– Не смотрите же туда! Не смотрите! – хрипел Гуськин. – Ой, вертайте скорее!.. Мы же ничего не видали... Идите тихонько... Мы же себе гуляем. У нас сегодня концерт, мы же гуляем, – убеждал он кого-то и улыбался побелевшими губами.

Я быстро повернулась и почти ничего не видела. Я даже не поняла, чего именно не надо было видеть. Какая-то фигура в солдатской шинели нагибалась, подбирала камни и швыряла в свору собак, которые что-то грызли. Но это было довольно далеко, внизу у насыпи. Одна собака отбежала, волоча что-то по земле. Это все было так мгновенно... Мне показалось, что волочит она... наверное, показалось... волочит руку... да, какие-то лохмотья и руку, я видела пальцы... Только ведь это невозможно. Ведь нельзя же отгрызть руку...

Помню холодный липкий пот на висках и у рта и судорогу потрясающей тошноты, от которой хотелось рычать по-звериному.

– Идемте, идемте!

Аверченко ведет меня под руку.

– Ведь хозяйка предупреждала, – хочу я сказать, но не могу разжать зубы и ничего не могу выговорить.

– Мы попросим горячего чая, – кричит Гуськин, – и мигрень живо пройдет! От холодного мигрень всегда проходит. Что?

Когда мы подошли к дому, он шепнул:

– Актрисам нашим ни о чем ни полслова. Все равно, если даже очень громко завизжать, так новый строй наладить не успеют – нам утром надо уезжать. Что-о?

Гуськина «что-о?» не означает вопроса и ответа не требует. Это просто стиль и риторическое украшение речи. Хотя иногда казалось, что в Гуськине два человека: один говорит, а другой с удивлением переспрашивает.

Дома застали мирную картину: лампа, самовар. Одна из актрис поит молоком свою собачку, другая репетирует какой-то монолог для вечера.

Что же, однако, я буду читать? Какая у нас будет аудитория? Робеспьер говорил, что все «светлые личности, сбросившие вековые цепи» – каторжники, что ли? И вдобавок «глубокие ценители и знатоки искусства». Какого искусства? Аверченко решил, что «блатной музыки»³².

³² «...знатоки искусства». Какого искусства? Аверченко решил, что «блатной музыки». – Блатная музыка (тюр.-вор. жарг.) – воровской жаргон.

Что же читать?

– Надо читать нежные стихи, – решила Оленушка. – Поэзия облагораживает.

– А я все-таки лучше прочту сценку в участке. Не так благородно, зато роднее, – сказал Аверченко.

Оленушка спорила. Она на гастролях в Западном крае читала мою «Федосью».

«Ходила Федосья, калека переходящая» и т. д. (вещь очень актерами любимая и зачитанная).

– И вот, представьте себе, в антракте забежал ко мне за кулисы один старый иноверец, совсем простой, и со слезами говорил: «Милая госпожа артистка, ну прочтите же еще раз про эту Морковью». Ведь там же про Христа говорилось, – пламенно убеждала Оленушка, – иноверцу, наверное, это было неприятно, а все-таки это его растрогало.

– Милая Оленушка, – сказала я. – Вашего «иноверца» здесь, наверное, не будет. Читайте лучше что-нибудь про аэроплан или про жареную баранину...

В сенях раздался восторженный голос Робеспьера.

Я вышла из комнаты.

Вечер. Восемь часов.

Пора отправляться на знаменитый концерт.

Как одеться? Вопрос серьезный.

Думали, думали – решили надеть блузки и юбки.

– Если наденем что-нибудь понаряднее – наверное ограбят, – сказала актриса с собачкой. – Не надо им показывать, что у нас есть приличные платья.

– Ладно.

Идти придется пешком, через ограды, пересечь полотно железной дороги, потом мимо амбаров... Дождь. Грязь хлюпает, где пожиже, и чмокает, где погуще. Впотьмах кажется, будто она кипит и шевелится.

Оленушка сразу завязла и пищит, что у нее «калоши захлебнулись».

Гуськин водит над дорогой слепым фонариком, словно кадит дождю и ночи.

Какая неудобная дорога в «Клуб просвещения и культуры».

– А на что им лучше? – говорит незнакомый голос. – Там все равно никто никогда не бывает.

Кто-то хлюпнул и чмокнул около меня. Кто-то чужой. Надо быть осторожней.

Но все-таки, если мы даже кое-как доберемся, – как же мы вылезем на эстраду с комьями грязи на ногах?

Аверченкин импресарио советует снять башмаки и чулки, идти босиком, а там уже в клубе попросить ведро воды, вымыть ноги и обуться. Или наоборот – идти как есть, а там, в клубе, потребовать воды, вымыть ноги и идти на эстраду босиком. Или еще лучше – выстирать в клубе чулки – а что мокрые, то ведь это будет мало заметно.

– А вы умеете стирать? – мрачно спросил чей-то голос.

Гуськин ворочал грязь своими корявыми штиблетами и молча кадил фонариком. Сверкнули босые ноги Оленушки. Я не могла решиться снять башмаки. Робеспьер проходил сегодня по этой дорожке и, пожалуй, еще где-нибудь плюнул.

– Это ваше?

Кто-то подает мне что-то круглое, черное. Что это за гадость?

– Ваша калоша... в ней туфля.

– Гуськин! – кричу я. – Я не могу идти дальше. Я умру.

Гуськин деловито приблизился.

– Не можете? Ну так садитесь мне на шею.

Я поняла это приглашение как аллегорическое: губите, мол, все дело, а я должен вас вывозить.

– Гуськин, я правда не могу. Смотрите, я стою, как цапля, на одной ноге... Мой башмак весь в грязи... Как же я его надену, когда, может быть, Робеспьер плюнул... Гуськин, спасите меня!

– Так я же говорю – садитесь мне на шею. Я вас понесу.

Ничего не понимаю.

– Вы такой огромный, Гуськин, мне не влезть.

– Встаньте сначала на заборчик... или вон тут кто-то небольшой, кажется, из молодежи...

Можно сначала на него.

Поеду на Гуськине, как кузнец Вакула на чёрте³³?

Много раз приходилось мне в моей жизни отправляться на концерты. Ездила и в каретах, и в автомобилях, и на извозчиках, но на собственном импресарио – ни разу.

– Спасибо, Гуськин. Но уж очень вы огромный, у меня голова закружится.

Гуськин растерялся.

– Ну... хотите, наденьте мои башмаки?

Тут у меня без всякой высоты закружилась голова.

Как в минуты высшего душевного напряжения – вся минувшая жизнь острым зигзагом пронеслась перед моим внутренним взором: детство, первая любовь... война... третья любовь... литературная слава... вторая революция и... все это увенчивается незабываемыми «штиблетами» Гуськина. В черную ночь, в глуши, в грязи – какой бесславный конец! Потому что пережить этого, вы понимаете, нельзя...

– Спасибо, Гуськин. Вы высокой души человек. Я и так дойду.

И, конечно, дошла.

В закуте деревянного барака, играющей роль уборной господ артистов, пока нам оттирали башмаки газетной бумагой, мы смотрели в щелочку на нашу публику.

Барак вмещал, вероятно, человек сто. С правой стороны на подпорках и брусках висело нечто вроде не то галерки, не то просто сеновала.

В первых рядах – «генералитет и аристократия». Все в коже (я говорю, конечно, не о собственной, человеческой, а о телячьей, бараньей – словом, революционной коже, из которой шьются куртки и сапожищи с крагами). Многие в «пулеметах» и при оружии. На некоторых по два револьвера, словно пришли не в концерт, а на опасную военную разведку, вылазку, на схватку с врагом, превосходящим силами.

– Смотрите на эту, вон – в первом ряду посередине... – шепчет Гуськин. – Это она.

Коренастая коротконогая девица, с сонным лицом, плоским, сплюснутым, будто прижала его к стеклу, смотрит. Клеенчатая куртка в ломчатых складках. Клеенчатая шапка.

– Какой зверь! – с ужасом и твердым знаком шипит мне на ухо Гуськин.

«Зверь»? Не нахожу. Не понимаю. У нее ноги не хватают до полу. Сама широкая. Плоское лицо тускло, точно губкой провели по нему. Ничто не задерживает внимания. И нет глаз, нет бровей, нет рта – все смазано, сплыло. Ничего «инфернального»³⁴. Скудный комок. Женщины с такой внешностью ждут очереди в лечебницах для бедных, в конторах для найма прислуги. Какие сонные глаза. Почему они знакомы мне? Видела я их, видела... давно... в деревне... баба-судомойка. Да, да, вспомнила. Она всегда вызывалась помочь старичку повару, когда нужно было резать цыплят. Никто не просил – своей охотой шла, никогда не пропускала. Вот эти самые глаза, вот они, помню их...

³³ ...как кузнец Вакула на чёрте? – Имеется в виду эпизод из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1832), когда кузнец Вакула, перекрестив черта, вскочил на него верхом и заставил себя возить.

³⁴ Ничего «инфернального». – Инфернальный (от лат. infemalis) – адский.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.